

V I K T D S

ПОЕКТ «ЭХО». ОБЪЕКТ 7.



CASE FILE

#LAP-77-0X

ПРОЕКТ «ЭХО»
ОБЪЕКТ 7



ПРОТОКОЛ АКТИВАЦИИ
СТАТУС: ЗАБЕРШЕН



ОНА ИСКАЛА УБИЙЦУ.

СИСТЕМА СОЗДАЛА ЗЕРКАЛО.

ИНДЕНТИФИКАЦИЯ: ОБЪЕКТ 7

УГРОЗА: ЛИКВИДИРОВАТЬ



ТЕХННООЛИЦИЯ
ПРАВО НА ПРАВДУ, ЦЕНА — ИДЕНТИЧНОСТЬ.

18+

Vi Ktds

Проект «Эхо». Объект 7.

«Автор»

2026

Ktds V.

Проект «Эхо». Объект 7. / V. Ktds — «Автор», 2026

Меня зовут Видена. Я лейтенант технополиции. Семь месяцев назад мою приемную мать отравили. Я надела её лицо и заняла её место, чтобы найти убийцу. Семь месяцев я живу чужой жизнью, и никто не замечает подмены. Даже Андрес — племянник матери, который считает меня своей тётёй. Он не знает, что я — не та, за кого себя выдаю. Я иду по следу убийцы, который ведёт меня в прошлое. В прошлое, от которого меня прятали много лет назад. Прошлое— которое я не хочу вспоминать.

Содержание

Пролог	5
Глава 1	11
Глава 2.	18
Глава 3	25
Глава 4.	27
Глава 5	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Vi Ktds

Проект «Эхо». Объект 7.

Пролог

Пролог

Для одного это конец, для другого-начало.

Девять лет.

Девять лет я просыпалась под будильник, который орал в шесть ноль-пять, — не в шесть, а в шесть ноль-пять, потому что ровно в шесть вставала Кадес, соседка по блоку, и если не опередить её хотя бы на пять минут, то душ был занят ещё полчаса. Девять лет я ела кашу, которую невозможно испортить, потому что её невозможно приготовить, — в академической столовой кашу не готовили, её воскресляли. Девять лет я бегала кроссы по утреннему холоду полигонов, учила устав, стреляла, дралась, сдавала, пересдавала, проваливала и снова сдавала. Девять лет.

И вот — всё.

Зал вручения дипломов в столичной академии технополиции Сивелирии — помещение, которое один раз в году превращается из обычной лекционной аудитории в нечто почти торжественное. Почти — потому что торжественность здесь не любят. Технополиция не армия, не парадный строй, не мундиры с позументами. Серые стены, серые стулья, серый графитовый знак на стене — герб технополиции, двоянный круг с разрывом, означающий, по официальной версии, «разрыв шаблона» — способность видеть за пределами привычного. На самом деле никто не помнит, что он означает. Просто носили.

Я сидела в третьем ряду, в парадной форме, которая была мне мала в плечах, — выдали по размеру, который значился в личном деле, а личное дело вели с первого курса, когда я была на два сантиметра ниже и на три килограмма легче. Погоны давили. Воротник натирал. Мне было двадцать семь, я не спала нормально три дня — готовилась к финальной защите проекта, который всё равно никто не читал, — и я хотела только одного: чтобы это быстрее закончилось.

Хотела. А теперь — сижу, и думаю, что закончится, и не верится.

— Ди Сольде! — крикнул из-за трибуны полковник Грейм, и я встала, и пошла к сцене, и слышала, как скрипят стулья, и как кто-то свистнул с задних рядов — Морт, конечно, откуда ему ещё свистеть.

Грейм — мужчина, похожий на кирпич: квадратный, тяжёлый, с лицом, на котором ничего не отражалось, кроме усталости. Он руководил выпуском последние четыре года и за это время не сказал мне ни одного лишнего слова. Не потому что не любил — потому что считал, что лишние слова расслабляют. Он держал диплом в руке, как держат гранату, — бережно и без нежности.

— Видена ди Сольде, — сказал он в микрофон, и голос его гулко ушёл в потолок. — Специальность «Криминальный анализ техносферы». Средний балл — четыре и восемь десятых. Диплом с отличием по практической части. Рекомендация к присвоению звания лейтенанта технополиции. Назначение — Сильвертин, северная провинция. Командир оперативного отряда.

Он протянул мне диплом. Я взяла. Рукопожатие у Грейма — как у тисков: без давления, но и без уступки.

— Поздравляю, лейтенант, — сказал он тихо, так что микрофон не поймал. — Не подведите.

— Не подведу, — сказала я.

И всё. Девять лет — и тридцать секунд. Диплом в папке, лейтенантские погоны на плечах, которые давят и натирают, и впереди — Сильвертин. Серебряный город. Туда, откуда я приехала. Туда, где мама поливает свой гербарий и ждёт меня на лето.

Тусовка — это громко. Тусовка — это когда Морт стащил откуда-то три бутылки и колонку, а Гельга — единственная на курсе девушка, которая стреляла лучше меня и дралась хуже, — притащила тарт, который испекла сама, и торт был кривой и слишком сладкий, но мы его съели за десять минут.

Мы сидели в общежитии, в блоке, который четыре года был моим домом: две комнаты на четверых, общая кухня, душ, который ломался по средам, и балкон, выходивший на индустриальную окраину столицы — ряды бетонных заборов, вышки, дальше — трубы комбинатов. Некрасиво. Но вечером, с подсветкой, с шумом снизу, с запахом чего-то горелого и сладкого одновременно, — было хорошо. Было так хорошо, что я запомнила.

Морт — высокий, рыжий, со смехом, который слышен за три корпуса, — наливал всем и себе, и говорил тосты, которые становились всё бессмысленнее с каждым бокалом. Гельга сидела на подоконнике, болтая ногами, и рассказывала про своё распределение — столица, центральный отдел, кибер, — и глаза у неё горели так, будто ей дали не назначение, а билет на край света. Кадетская — та самая, которая занимала душ в шесть ноль-пять, — молчала, улыбалась и пила мало, потому что ей было немного грустно: её отправляли на восточную границу, в глушь, от которой до ближайшего города — четыре часа на вездеходе. Но не жаловалась. Не умела.

А я сидела на полу, спиной к стене, с бокалом, который мне не нравился — я не любила сладкое вино, — и слушала, и молчала, и чувствовала, как что-то тёплое и непривычное растекается внутри. Не вино. Не усталость. Что-то другое, чему я не знала названия, потому что в академии не учили словам для этого. Девять лет учили стрелять, анализировать, давить, ждать, искать — и ни разу не учили, как называется момент, когда всё позади и всё впереди, и ты молода, и сильна, и тебе двадцать семь, и лейтенантские погоны давят, но ты гордишься ими, и ты не признаёшься в этом даже себе, и ты всё равно гордишься.

— За Сильвертин! — заорал Морт, и все подняли бокалы, и я подняла, и мы выпили, и Морт добавил: — За тебя, ди Сольде. Ты единственная, кто заставил Грейма сказать «не подведите». Остальным он говорил «постарайтесь». Это значит, он верит, что ты не подведёшь. Или что если подведёшь — он придет и убьёт тебя сам.

— Он не приедёт, — сказала Гельга. — У него аллергия на провинцию.

Мы засмеялись. Все. Даже Кадес, которая не смеялась почти никогда.

Потом Морт включил музыку — что-то громкое, быстрое, с битом, от которого вибрировали стены, — и Гельга стащила меня за руки на импровизированный танцпол, то есть на середину комнаты, где мы отодвинули стол и стулья, и мы танцевали, и я танцевала, — я, которая не танцевала, потому что в академии не было танцев, были кроссы и рукопашный бой, — и мне было всё равно, что я танцую плохо, потому что все танцевали плохо, и Морт кружил Гельгу, и Кадеса хлопала в ладоши, и музыка орала, и соседи стучали по батарее, и нам было на это плевать, потому что мы только что закончили. Девять лет — и только что закончили, и впереди — вся жизнь.

Вся жизнь.

Потом стало поздно. Или рано, смотря как считать. Морт уснул на кухонном полу, укрывшись курткой. Гельга ушла к себе, она жила в соседнем блоке, и я слышала, как она, уходя,

тихо прикрыла дверь, чтобы не разбудить Морта. Кадес легла, но не спала, я видела полоску света под её дверью. Она всегда засыпала последней и просыпалась первой. Я иногда думала, что она вообще не спит.

Я вышла на балкон. Было холодно — столичные ночи в это время года держались на грани между весной и зимой, и воздух пах металлом и мокрым бетоном. Трубы комбинатов светились вдалеке — тусклые, рыжие, как угли. Небо было серым, без звёзд — свет города съедал всё.

Я стояла, и ветер забирался под форму, и погоны больше не давили — я сняла их, спрятала в карман. Без погон я была просто Виденой. Девушка двадцати семи лет, с короткими светлыми волосами и серыми глазами, в форме, которая мала в плечах. Только что закончила академию. Завтра — сборы. Послезавтра — поезд. Через два дня — Сильвертин. Мари. Мама. Тихая жизнь, которую я оставила девять лет назад и к которой возвращалась с лейтенантскими погонами в кармане и дипломом в папке.

Я достала телефон. Набрала Мари. Она не спала — Мари никогда не ложилась раньше полуночи.

— Мам, — сказала я. — Я лейтенант.

Тишина. Потом — голос, тихий, с хрипотцой:

— Я знаю, девочка. Я знала, поздравляю.

— Меня распределяют в Сильвертин.

Снова тишина. Длиннее. Потом — смех, тихий и тёплый, как вишнёвый компот, который она всегда варила на ночь.

— Приезжай домой, — сказала Мари. — Приезжай домой, Видена. Я испеку пирог с мясом.

Я положила телефон, и стояла, и смотрела на трубы, и ветер был холодный, и погоны в кармане были тёплыми от моей ладони, и я думала: пирог с мясом. Вот чего я хочу. Не Сильвертина, не лейтенантства, не оперативного отряда. Пирога с мясом. И Мари на кухне. И герань на подоконнике. И тишину, в которой можно просто быть.

И зверь внутри — тёплый, молчаливый — тоже молчал. Спал. Как спал все двадцать лет, пока я училась стрелять и искать. Как будто знал, что впереди — всё.

Поезд пришёл в Сильвертин в семь утра. Я помнила этот вокзал — маленький, одноэтажный, с облупленным фасадом и вывеской, на которой буква «Е» отвалилась ещё тогда, когда я уезжала. Теперь отвалилась ещё и «Р». «Сильв_тин». Привет, родина.

Мари встречала на перроне. Стояла у края, в своём тёмном пальто, с узлом — я знала, что в узле полотенце и тёплый хлеб, потому что Мари всегда приносила тёплый хлеб на вокзал, будто я ехала не четыре часа в вагоне, а неделю пешком через непроходимый лес. Она увидела меня, и лицо её не изменилось — Мари не из тех, кто плачет на перронах, — но руки потянулись, и я шагнула, и она обняла, и пахла цветами и вишнёвым компотом, а хлеб был тёплый, и я думала: вот. Вот чего я хотела. Этого. Быть дома.

— Пирог? — спросила я.

— Пирог, — сказала Мари. — С мясом. И компот — вишнёвый. Варила на днях, чтобы настоялся.

Мы поехали домой. Квартира была той же: четыре комнаты, кухня, герань, шкаф с книгами, кровать, застеленная так, что можно было лечь и не двигаться до утра. Я поставила сумку в своей комнате, села на кровать, и Мари принесла компот — тёмно-рубиновый, сладкий, с вишнями на дне, и мы сидели на кухне, и я рассказывала про академию, а она слушала, и кивала, и не перебивала, и я знала, что ей не важно, что я рассказываю — ей важно, что я здесь. На столе стоял пирог, золотистая корка, через которую проступало мясо, и пахло так, что у меня защищало глаза от усталости, от дороги, от того, что я дома.

Два дня я просто была дома. Спала до десяти. Ела. Смотрела, как Мари поливает свой цветник на подоконнике. Гуляла по городу, который не изменился — те же панельные пятиэтажки, тот же торговый центр, те же обогатительные комбинаты вдоль реки, та же серость, которая когда-то давила, а теперь казалась тёплой. Сильвертин не изменился. Я изменилась. Я вернулась с погонями и дипломом, и город принимал меня обратно, как принимает реку, которая ушла и вернулась: не замечая.

На третий день я пошла в отделение.

Сильвертинское отделение технополиции располагалось в двухэтажном здании на углу проспекта Рудников и улицы Шахтёрской — названия, которые говорили сами за себя. Здание было старое, довоенной постройки, с толстыми стенами из серого кирпича и окнами. Но достаточно крепкое здание для времени после войны. Над входом — тот же графитовый знак, сдвоенный круг с разрывом, выцветший настолько, что казался не символом, а дефектом штукатурки.

Я поднялась по ступеням, толкнула дверь и вошла.

Первый этаж — приёмная, дежурная, камера — одна, маленькая, с решёткой, которая ржавела. Дежурный — молоденький сержант, который смотрел в экран и ел что-то из пакета, — поднял голову, посмотрел на меня, на погоны, на форму, и крошки полетели на стол.

— Лейтенант ди Сольде, — сказала я. — По распределению. К командиру отделения.

— А, — сказал сержант, и вытер рот, и встал, и стул его скрипнул. — Ждали. Второй этаж, направо. Кабинет тринадцать.

— Тринадцать?

— Повезло, — сказал он, и не улыбнулся.

Второй этаж был тише и темнее. Коридор, линолеум, три двери, кабинет тринадцать — последняя. Дверь была приоткрыта, и из неё шёл свет и запах табака — не сигарет, а трубки, старой, прокуренной. Я постучала.

— Заходите, — сказал голос. Хриплый, низкий, с тем провинциальным выговором, который я помнила по школе, — гласные растягивались, согласные проглатывались.

Я вошла.

Кабинет — маленький, с одним окном, выходившим на задний двор, где росла единственная берёза, и больше ничего. Стол, заваленный бумагами. Стеллаж с папками — коричневыми, серыми, без этикеток. На стене — карта Сильвертина и окрестностей, потёртая на сгибах, с булавками, воткнутыми в разные точки. И за столом — человек.

Его звали Краав. Детектив Краав. Мне это сказали потом — он сам не представился, потому что считал, что если ты в его кабинете, ты и так знаешь, кто он. Ему было лет пятьдесят, может, больше — лицо у него было такое, какое бывает у мужчин, которые прожили две жизни и не отдохнули ни от одной. Широкий, тяжёлый, с руками, которые лежали на столе, как два булыжника. Волосы — седые, короткие. Глаза — тёмные, маленькие, из тех, что не смотрят на тебя, а смотрят сквозь. Он курил трубку, и дым шёл вверх, и окно было закрыто, и в кабинете было душно.

Он посмотрел на меня. Долго. Не как человек, который оценивает, — как человек, который считает.

— Ди Сольде, — сказал он. — Столица. Академия. Криминальный анализ техносферы. Диплом с отличием по практической части.

— Так точно.

— И вас прислали ко мне.

— Так точно.

Он затаился, выдохнул дым, и дым повис в воздухе, как занавес.

— Знаете, сколько у меня людей?

— Нет.

— Трое. Сержант внизу, который ест на дежурстве. Техник — девушка, которая чинит серверы и плачет, когда они падают. И вот вы. Лейтенант с отличием. Командир оперативного отряда. Ещё двадцать человек в патруле. Все.

Я молчала. Я умела молчать.

— Отряда нет, — сказал Краав. — Отделение — я, сержант, техник и вы. Сильвертин — город, в котором технопреступлений не бывает. Бывают пьяные драки на комбинате, бывают кражи медной проволоки, бывает бытовуха. Технополиция здесь — для отчёта. Столица шлёт нам лейтенантов, мы принимаем, пишем в ведомость, и лейтенант сидит и смотрит в окно, пока не переведётся.

Он посмотрел на меня тем взглядом — сквозь.

— Но раз прислали — будете работать. Не командиром отряда. Отряда нет. Помощником детектива. Моим помощником. Это значит: я говорю — вы делаете. Я не говорю — вы ждёте. Я ошибаюсь — вы молчите. Я не ошибаюсь — вы тоже молчите. Вопросы?

— Один, — сказала я. — Когда начать?

Краав посмотрел на меня ещё раз. Дольше, чем раньше. И я увидела, как что-то дрогнуло в его лице — не улыбка, нет. Что-то другое. Может быть, удивление. Может, уважение. Может, просто интерес — впервые за долгое время.

— Вчера, — сказал он. — Но вас ещё не было. Садитесь.

Я села. И началось.

Первый день — бумаги. Краав положил передо мной стопку папок — тех самых, коричневых и серых, без этикеток — и сказал: «Читайте». Я читала. Три часа, не поднимая головы. Дел за три года — сорок два. Кража медной проволоки с комбината — четырнадцать раз. Пьяная драка с применением технических средств — семь. Незаконное подключение к электросети — одиннадцать. Остальное — мелочь, которую в столице не открыли бы, а здесь вели.

— Ну? — спросил Краав, когда я закрыла последнюю папку.

— Медная проволока, — сказала я. — Четырнадцать краж за три года, все с одного и того же комбината. Одинаковый способ — через восточный забор, который никто не чинит. Одинаковый объём — примерно. Разные заявители, но заявляет всегда охрана, не руководство. Руководство не в курсе.

Краав кивнул. Медленно, как кивают, когда ожидали именно этого.

— Ещё, — сказал он.

— Электросеть. Одиннадцать подключений. Все в одном районе — квартал Шахтёрский. Все в один период — зима, когда электричество дорожает. Кто-то местный, кто знает, где щитки и как подключаться. Не профессионал — профессионал не оставил бы следов. Кто-то из жильцов.

Краав снова кивнул.

— Ещё?

— Пьяные драки. Семь случаев, все на одном участке — возле бара «Рудник» на улице Шахтёрской. Один и тот же бар, одни и те же выходные. Охрана бара не работает, или работает на них, или ей платят, чтобы не вмешивалась. Это не технопреступление. Это быт. Но быт — система, и система имеет паттерн, и паттерн можно сломать, если знать, где.

Краав встал. Обошёл стол. Подошёл к окну, посмотрел на берёзу, повернулся.

— Вы не просто читали, — сказал он. — Вы видели.

— Меня для этого учили, — сказала я.

— Вас учили в столице, — сказал Краав. — А здесь — не столица. Здесь люди не паттерны. Здесь люди — люди. Они пьют, воруют, дерутся, любят, ненавидят, и всё это — не потому, что система, а потому, что жизнь. Вы это понимаете?

Я молчала. Не потому что не знала ответа, а потому что знала: правильный ответ — не слова. Правильный ответ — молчание, в котором видно, что ты задумался.

— Хорошо, — сказал Краав. — Завтра — на обход. Покажу город. Не тот, который вы помните, и не тот, который на карте. Тот, который есть. Будете моим помощником. Будете смотреть. Будете учиться. И когда я скажу — будете действовать.

Он сел обратно, взял трубку, раскурил.

— Вопросы?

— Нет, — сказала я.

— Правильный ответ, — сказал Краав, и дым пошёл вверх, и берёза за окном качнулась, и я сидела в кабинете номер тринадцать, в здании на углу проспекта Рудников и улицы Шахтёрской, в Сильвертине, в Серебряном городе, и была лейтенантом, и была помощником детектива, и была дома.

Вечером я пришла в квартиру. Мари сидела на кухне, красный чай из ягод был налит в два стакана — тёмно-рубиновый, с вишнями на дне.

— Ну? — спросила Мари. — Как?

— Помощник детектива, — сказала я. — Не командир. Помощник.

Мари посмотрела на меня. Долго. Потом пододвинула ко мне стакан с компотом.

— Это хорошо, — сказала она. — Это значит, кто-то будет тебя учить. Командиром не рождаются, командиром становятся, а помощник — это хорошо, Ви.

Я пила чай — сладкий, прохладный, с привкусом вишнёвых косточек, — и Мари молчала, и я думала: вот. Вот она — моя жизнь. Не парадная, не та, о которой говорил Грейм, не та, о которой кричал Морт. Эта. Кухня, чай, берёза за окном кабинета номер тринадцать, детектив с трубкой, который смотрит сквозь.

Глава 1

Краав пришёл в семь. Я сидела в кабинете номер тринадцать с шести пришла раньше, потому что не умела опаздывать, и потому что спать в Сильвертине было слишком хорошо, и если бы я позволила себе ещё пять минут, то опоздала бы на всю жизнь.

Утро было серое. Не мрачное, именно серое, как пепел, как бетон, как фасад вокзала без двух букв. Берёза за окном стояла голая, не зима, но весна ещё не пришла, и берёза ждала, как ждут всё в этом городе: без раздражения, без нетерпения, просто ждали.

Краав вошёл без стука — в свой собственный кабинет, и я поняла, что он всегда входит без стука, во все двери, везде. Не из грубости. Из привычки. Человек, который входит не спрашивая, это человек, который давно перестал ждать разрешения.

Он был в том же, что и вчера: серый китель, тяжёлые ботинки, трубка в зубах. Не раскуренная, просто держал, как держат ручку или зубочистку, привычка рук, которым нужно что-то делать.

— Готовы? — спросил он.

— Так точно.

— Тогда вперёд.

Здание сильвертинского отделения технополиции стояло на углу проспекта Рудников и улицы Шахтёрской, названия, которые говорили сами за себя. Я уже знала его снаружи, но сегодня увидела иначе. Довоенная постройка, а довоенные здания в Сивелирии строили не для красоты, а для вечности. Толстые стены из серого кирпича, не панель, не блок — настоящий кирпич, уложенный так плотно, что между швами не просунуть лезвие. Два этажа, плоская крыша, узкие окна — не для света, для обороны. Когда-то здесь было что-то другое казарма, может, или склад, и война прошла сквозь город, а здание осталось. Стояло. Держалось. Как Краав кто-то, что переживёт то, ради чего был построен.

Снаружи — обшарпанное, серое, без претензий. Внутри — крепкое. Стены толстые, полы бетонные, лестница чугунная, с перилами, которые не шатались, хотя простояли полвека. Двери — массивные, деревянные, с металлическими ручками, отполированными тысячами ладоней. Здание дышало — не сквозняками, а устойчивостью. Оно не рухнет, не развалится, не сдастся. Здесь можно было работать.

На стенах — камеры. Не везде, но много — на входе, в коридорах, на лестничных пролётах, в приёмной, даже на заднем дворе, у берёзы. Старые, довоенные — не те тонкие панели, что я видела в столице, а тяжёлые, бронированные полусферы, вмонтированные в потолок и углы. Часть не работала — линзы помутнели, корпуса покрылись ржавчиной. Но работающих было достаточно, и Лин, как я позже узнала, держала их на голосу и изоленге, как и сервер.

Сильвертин город не большой, плюс минус сто тысяч человек. Не мегаполис, не деревня. Маленький город, в котором все друг друга знают, но сто тысяч достаточно, чтобы прятаться. Достаточно, чтобы люди исчезали, а соседи не замечали. Достаточно, чтобы технополиция существовала, но недостаточно, чтобы ей давали деньги. Зарплата лейтенанта — две тысячи единиц в месяц. В столице — четыре. В академии нам говорили, что провинциальные надбавки компенсируют разницу. Нам ввали. Надбавки не было. Был красный чай и пирог с мясом — и то за счёт Мари, а не за счёт государства.

Мы вышли из здания и пошли по проспекту Рудников. Краав шёл медленно, не как человек, который гуляет, а как человек, который читает. Он читал город — стены, трещины, вывески, граффити, мусор, людей. Я шла рядом и тоже читала. Девять лет в академии научили меня читать данные — таблицы, графики, паттерны. Краав читал другое. Он читал намерения.

На улице — патруль. Два человека в форме технополиции, с нашивками стражи на рукаве — щит с молнией, знак боевой академии. Сильвертинская стража подчинялась технополиции, а не муниципалитету, не комбинату, а нам. Двадцать человек на весь город. Двадцать пар ног, двадцать пар глаз, двадцать магов со средним даром, которых столица отправила сюда отрабатывать обучение.

Система была простая и жестокая. Боевые академии Сивелирии выпускали магов — боевых магов, с даром, с подготовкой, с навыками. Не великих, не сильных — средних. Тех, кого в столицу не брали, но и на гражданку не отпускали. Их распределяли по провинциальным отделениям технополиции — на пять лет. Пять лет службы в страже — и долг за обучение закрыт. Пять лет патрулей, дежурств, обходов, грязи, пьяных драк и медной проволоки — и свободен. Можешь возвращаться в столицу, поступать в центральный отдел, делать карьеру. Или оставаться если понравилось, если прижился, если некуда идти.

Большинство не оставалось. Пять лет — и уходили. Пять лет — и возвращались в столицу, где магия была нужна, где дар ценили, где платили четыре тысячи, а не полторы. Сильвертинская стража — временное явление: заходили, отрабатывали, выходили. Краав видел их приходящими и уходящими — десятками, сотнями, за пятнадцать лет. Он не запоминал имён. Зачем, если через пять лет их не будет?

Краав кивнул одному из патрульных, молодому, лет двадцати двух, с тонким лицом и глазами, которые смотрели поверх крыш, поверх города, поверх всего — туда, где была столица, куда он вернётся через четыре года и одиннадцать месяцев. Патрульный кивнул в ответ, не останавливаясь.

— Дорн, — сказал Краав, когда мы отошли. — Второй год. Маг огня, средний уровень. Из боевой академии «Северный щит». Пришёл — злой, как все. Злость пройдёт через год. Потом — равнодушие. Потом — привычка. Потом — уход. Стандартный цикл.

— Они все такие? — спросила я.

— Все, — сказал Краав. — Молодые, злые, талантливые — и застрявшие в городе, где их талант не нужен. Сильвертин — не место для мага. Здесь нет технопреступлений, которые требуют магии. Здесь нет врагов, которых нужно жечь или связывать. Здесь есть пьяные драки, кражи и бытовуха. Они приходят после академии, где их учили сражаться, а они стоят на перекрёстках. Пять лет. За полторы тысячи в месяц.

— Полторы? — переспросила я. — Меньше, чем у сержанта?

— Меньше, — сказал Краав. — Им платят стипендию — долг за обучение. Формально — не зарплата. Формально — они студенты на практике. Фактически, стража, которая патрулирует город и мечтает о столице. Двадцать магов на сто тысяч человек. Один маг на пять тысяч. В столице — один на сто. Здесь — один на пять тысяч, и из этих пяти тысяч — никто не ценит магию. Здесь ценят деньги, связи.

Мы прошли ещё два квартала. Патрульные попадались регулярно, у магазина, у школы, у въезда в квартал Шахтёрский. Они стояли, или шли медленно, или курили, прислонившись к стене. Молодые, все — молодые, ни одного старше тридцати. Те, кому исполнялось тридцать, заканчивали пятый год — и уходили. Двадцать человек на сто тысяч. Двадцать магов, которые отрабатывали. Не полицейские — присутствие. Не защита — отчёт. Столица отправляла их сюда, чтобы они были, — и они были. Здесь. Пять лет. И уходили.

Краав вёл меня по городу — не торопясь, не останавливаясь без причины, но каждый раз, когда останавливался, говорил так, что я запоминала.

— Вон тот дом, — сказал он, кивнув на панельную пятиэтажку с ободранным фасадом. — Третий подъезд, четвёртый этаж. Два года назад убийство. Муж зарезал жену кухонным ножом. После — пытался повеситься. Веревка порвалась. Выжил. Сидит. Ребёнок — в приюте на востоке города. Дело закрыто. Чистое.

Я молчала и запоминала.

— А вон тот, — он кивнул на другой дом, через дорогу, с целым фасадом и цветочными ящиками на окнах. — Пять месяцев назад. Женщина сорока двух лет. Упала с балкона. Четвёртый этаж. Свидетелей нет. Соседи слышали крик, но решили, что бытовое. Муж — водитель на комбинате. Алиби — ночная смена. Трое коллег подтвердили. Дело закрыто. Несчастный случай.

— Вы не согласны, — сказала я. Не спросила. Сказала.

Краав посмотрел на меня. Впервые — не сквозь, а прямо.

— Почему вы так решили?

— Вы сказали мне про первое дело — и не сказали ничего лишнего. Про второе — добавили «соседи слышали крик». Если бы верили в несчастный случай, не упомянули бы крик. Вы его запомнили. Значит, сомневаетесь.

Краав не ответил. Достал трубку, подержал в зубах, и мы пошли дальше.

Сильвертин — город, в котором преступления не раскрываются. Не потому что технополиция плохая. Потому что технополиции нет. Краав — один детектив на весь город. Сержант на дежурстве, техник в подвале, бухгалтер в каморке, двадцать магов-стражников на улицах, и вот теперь — я. Сорок два дела за три года, и из них раскрытых — двадцать шесть. Остальные — «приостановлены», «не представляется возможным», «недостаточно доказательств». Бюрократический язык для слова «брошено».

Краав не бросал. Он складывал. Каждое нераскрытое дело — в отдельную папку, в отдельный ящик стола. Он не закрывал их — он откладывал, как откладывают книгу, которую не дочитал. И возвращался. Иногда через месяц, иногда через год.

— Город маленький, — сказал Краав, когда мы прошли половину проспекта и свернули на улицу Шахтёрской. — Все друг друга знают. Это значит, что свидетели есть всегда. И значит, что они никогда не говорят. Не из страха — из привычки. Здесь не принято лезть в чужое. Здесь принято не видеть. И технополиция, часть этого «не принято». Меня зовут, когда уже поздно. Или когда уже некому позвать.

— А когда не поздно? — спросила я.

— Когда не поздно — разбираются сами. Кулаками, трубой, ножом. А потом зовут меня. И я пишу: «несчастный случай», «быт», «пьяная драка». И закрываю. Потому что доказать нельзя — свидетели молчат, улики смыты, а у меня — один сержант, один техник, один бухгалтер, двадцать магов, которые через пять лет уйдут, и одна лейтенант, которая вчера приехала.

Он сказал это без горечи. Как говорят о погоде. Как о дожде, который идёт и идёт, и от которого не спасает зонт, потому что зонта нет.

— Но вы продолжаете, — сказала я.

— А что ещё делать? — спросил Краав, и это был не вопрос.

Улица Шахтёрская вела мимо бара «Рудник» — того самого, возле которого происходили семь пьяных драк. Бар был закрыт — слишком рано, — но запах стоял: прокисшее пиво, табак, мокрый асфальт. Тёмные окна, железная дверь, вывеска с облезшей краской. Над входом — камера, одна из тех, что работали: бронированная полусфера, тусклая, с красным огоньком — живая. Лин, видимо, подняла. Ничего особенного. Но Краав остановился.

— Здесь, — сказал он. — Семь драк, и все — по пятницам. Камера над входом работает. Пишет. Но запись идёт на сервер, а сервер падает по средам — вы уже слышали от Лин. В ночь драки — пятница, сервер стоит. Но владелец бара — брат зама начальника охраны комбината. Я запросил записи — мне сказали, что в те ночи камера «сбоила». Проверил — камера рабочая. Запросил снова — мне сказали, что записи стёрты по графику, через тридцать дней. График стандартный. Ничего не докажешь.

— А стража? — спросила я. — Патруль проходит мимо?

— Проходит, — сказал Краав. — Каждый час. По расписанию. Маги-стражники — не полицейские, ди Сольде. Они патрулируют, они могут остановить драку, могут связать, могут прижечь, если нужно. Но они не расследуют. Не допрашивают. Не ведут дела. Их работа — присутствовать. И — не лезть. Бар платит комбинату, комбинат — муниципалитету, муниципалитет — столице, столица — присылает им магов, которые стоят на углу и смотрят, как дерутся. Круг. Замкнутый. Я — единственный разрыв в этом круге. И я — один.

— А если задействовать стражу? Если не просто патруль, а — проверка?

— Проверка? — Краав усмехнулся. Не улыбнулся — усмехнулся. — Двадцать магов, которым через год — другой, домой. Вы думаете, они захотят лезть в бар, который принадлежит брату зама начальника охраны? Они — нет. Они хотят отработать, уехать и забыть Сильвертин, я не виню. Я не виню. Но и не рассчитываю на их содействие.

Я кивнула. Крааввзял трубку в зубы, и мы пошли дальше.

Техник ждала нас в подвале.

Подвал отделения — единственное место в здании, которое выглядело живым. Не потому что там было хорошо — там было плохо: сыро, темпераментно, трубы на потолке потели, и с них капало в жестяной таз, который стоял посреди комнаты, как памятник безнадежной борьбе с протечками. Но живое — потому что мерцали экраны. Три монитора на старом, самодельном столе из кирпичей и досок, и на всех трёх — данные, потоки, графики, какие-то окна, которые я не сразу узнала.

На стене — карта. Не та, что у Краава в кабинете, — другая. Схема камер. Точки, линии, зоны покрытия. Я присмотрелась: камер было — тридцать две на весь город. Не мало для ста тысяч. Но из тридцати двух — девять не работали, а семь работали через раз. Остальные шестнадцать держали Лин и её маголента.

— Добро пожаловать в подвал, — сказал голос от экранов.

Техника звали Лин. Лин Корво. Мне было двадцать восемь, и ей, наверное, двадцать три или двадцать четыре — маленькая, тёмноволосая, с короткой стрижкой и пальцами, которые не переставали двигаться, даже когда она не работала: постукивали по столу, по колену, по собственным запястьям. Она сидела перед мониторами, как сидят пианисты перед роялем, — чуть наклонившись вперёд, спина прямая, глаза в экран. На нас она не повернулась. Услышала, но не повернулась.

— Лин, — сказал Краав. — Это ди Сольде. Лейтенант. Мой помощник.

— Угу, — сказала Лин. И через паузу: — Сервер падал ночью. Два раза. Я подняла. Если упадёт ещё — ничего не поднимется.

— Это метафора или буквальный отчёт? — спросил Краав.

— И то, и другое, — сказала Лин, и наконец повернулась. Лицо у неё было — ничего особенного. Обычное. Но глаза — быстрые, нервные, из тех, что перескакивают с объекта на объект и не задерживаются. Она посмотрела на меня, оценила за секунду — погоны, форма, лицо, — и вернулась к экранам.

— Криминальный анализ техносферы? — спросила она, не оборачиваясь.

— Да.

— Столичные методы? Профилирование, паттерны, вероятностные модели?

— Да.

— Здесь не работают, — сказала Лин. — Здесь данных нет. Вернее, они есть, но — мусор. Сильвертин не оцифрован. Комбинат — частично. Улицы — ноль. Камеры — тридцать две на город, и половина — мертва. Я работаю с тем, что есть. С шестнадцатью камерами, сервером, который держится на молитвах и маголенте, и бюджетом, которого нет.

— Бюджет? — переспросила я.

— Бюджет на техническое обслуживание отделения — сорок тысяч единиц в год, — сказала Лин. — В столице — четыреста на одно отделение. У нас — сорок на всё. На камеры, на сервер, на кабели, на запчасти. Я покупаю маголенту из своего кармана. Сервер — из списанных деталей, которые я тащу с комбината по знакомству. Если кто-то спросит — я не говорю, что тащу. А меня — не спрашивают.

Краав хмыкнул. Это было ближе всего к смеху, что я от него слышала.

— Лин — лучший техник на триста километров вокруг, — сказал он. — Потому что других нет. А она — есть. И она держит всё, что у нас есть: данные, связь, камеры, сервер. Если она скажет, что что-то не работает, — не работает. Если она скажет, что что-то работает, — верьте ей, а не глазам.

Я посмотрела на Лин. Лин посмотрела на меня. Две секунды — и она отвернулась к экранам. Я поняла: мы не подружимся сразу. Лин не дружила сразу. Но мы будем работать.

Бухгалтер сидел в каморке на первом этаже — комнате без окон, между дежурной и камерой. Дверь была открыта, и оттуда шёл запах бумаги и клея — не того, что клеят конверты, а того, что клеят корешки дел.

Его звали Олдер. Олдер Финц. Человек лет шестидесяти, с лысиной, очками на кончике носа и руками, которые были вечно перепачканы чернилами — от пера, которым он писал. Не от принтера — от пера. В подвале у Лин — сервер и мониторы. У Олдера — перо, чернила, три книги толщиной с кирпич и калькулятор, который, по виду, был довоенный.

— Олдер, — сказал Краав, — ди Сольде. Лейтенант. Мой помощник.

Олдер поднял голову, посмотрел на меня поверх очков, кивнул и вернулся к книге. Больше — ничего. Ни слова, ни улыбки. Он писал быстро, точно, с нажимом, который оставлял глубокий след на бумаге. Рядом — стопка ведомостей, счетов, отчётов. Всё на бумаге. В городе, где сервер падает по средам, бумага — единственная гарантия.

— Олдер ведёт всё, — сказал Краав, когда мы вышли. — Зарплаты, расходы, бюджеты, штрафы, конфискации. Если Лин — мозг отделения, то Олдер — его память. Без него мы — призраки: работаем, но не существуем на бумаге. Он — единственный, кто заставляет государство помнить, что мы есть.

— Он не сказал ни слова, — заметила я.

— Он говорит, когда есть что сказать, — ответил Краав. — Бухгалтер, который болтает, — это бухгалтер, который ошибается. Олдер не ошибается.

Когда мы вернулись из подвала на первый этаж, Поль стоял за стойкой дежурной. Тот самый, который ел на дежурстве вчера — но сегодня не ел. Сегодня он был чистый, выглаженный, и за стойкой — порядок: журнал раскрыт, ручка лежит ровно, ключи от камеры — на крючке, доска с ориентировками — обновлена.

Поль Грейнер — высокий, не молодой и не старый, лет тридцати пяти, с широким, добродушным лицом, которое не вязалось с формой, погонами и ржавой решёткой камеры за спиной. Он выглядел так, как должен выглядеть человек, который продаёт хлеб, а не сажает людей. Но форма была чистая, выглаженная, погоны — ровные, и руки — большие, тяжёлые, из тех, что не знают, что делать сами с собой, когда на них не лежит работа.

— Лейтенант ди Сольде, — сказал Краав. — Поль Грейнер, сержант. Дежурный. Если вас кто-то арестует — это он. Если вам кто-то нальёт чай — тоже он.

Поль улыбнулся. Широко, открыто, как улыбаются люди, которые не умеют по-другому. Противоположность Крааву во всём — Краав говорил мало, Поль говорил много. Краав смотрел сквозь, Поль смотрел прямо. Краав не улыбался, Поль — не переставал.

— Ди Сольде, — сказал Поль, и протянул руку, и рукопожатие у него было мягкое, тёплое, как рукопожатие человека, который рад, что ты есть. — Рад. Серьёзно. Здесь давно никто

новый не появлялся. Последний — Лин, два года назад. До неё — я, четыре года назад. До меня — Краав, и это уже легенда, он тут, кажется, со времени войны.

— Не со времени войны, — сказал Краав. — С послевоенного. Я не настолько стар.

— Вы старше, чем думаете, — сказал Поль, и усмешка у него была такой, что даже Краав не нашёл, что ответить.

— Не слушайте его, — сказал Краав мне. — Поль — лучший дежурный, которого я видел. Не потому что умный — потому что надёжный. Он не упустит. Он не забудет. Он не предаст. Всё остальное — моя работа. Его — быть на месте.

— А зарплата? — спросила я у Поля. Не потому что мне было важно — потому что хотела понять, как он здесь держится.

Поль пожал плечами.

— Полторы тысячи, — сказал он. — На комбинате платили две, но там — смена, ночь, вредность. Здесь — спокойно. Я утром встаю, иду на дежурство, вечером — домой. Жена, дочь, собака. Мне хватает. Не на многое — но хватает.

Он сказал это без жалоб, без бравады. Просто — факт. Человек, который знает, сколько у него есть, и живёт в этих пределах. В столице нам рассказывали про провинциальных полицейских как про героев. Поль не был героем. Поль был на месте. И это, как говорил Краав, — главное.

Мы поднялись обратно в кабинет тринадцать. Краав сел за стол, взял трубку, не раскурил — просто держал. Посмотрел на меня. Долго. Тем взглядом, который я уже начинала узнавать, — сквозь.

— Вот вы и увидели, — сказал он. — Я, Поль, Лин, Олдер. Двадцать магов-стражников, которые через пять лет уедут. Это — технополиция Сильвертина. Это — всё, что есть у ста тысяч человек, когда кому-то из них становится плохо.

Я молчала. Я считала. Один детектив. Один сержант. Один техник. Один бухгалтер. Одна я. Двадцать магов — чужих, временных, не местных. Тридцать две камеры — шестнадцать рабочих. Сервер, который падает по средам. Бюджет, которого нет. Зарплаты, на которые хватает «не на многое».

— Ваша работа — научиться видеть, — сказал Краав. — Вы умеете читать данные. Вы умеете видеть паттерны. Вы умеете давить. Но вы не умеете видеть человека. Не паттерн, не данные — человека. Вот того, который пьёт, потому что жена ушла. Вот того, который ворует, потому что ребёнок болен. Вот того, который молчит, потому что боится. Не системы. Людей. Вы пришли из академии, где люди — это переменные в уравнении. Здесь — не переменные. Здесь — жизни. И если вы поймёте это — вы станете не помощником. Вы станете тем, кого я ждал давно.

— Кого? — спросила я.

— Того, кто увидит то, что вижу я, — сказал Краав. — И сможет доказать то, что не могу я.

Он помолчал. Потом добавил, тише:

— Я здесь пятнадцать лет, ди Сольде. Пятнадцать лет я вижу, и не могу доказать. Устал. Не от работы — от бессилия. Вы — молодая, столичная, с дипломом и глазами, которые смотрят тяжело. Может быть, вы — то, чего мне не хватало. Может быть, нет. Но я хочу проверить.

Я молчала. Не потому что не знала ответа. Потому что ответ был не нужен. Нужен был другой — действие. Встать, выпрямиться, посмотреть ему в глаза и сказать то, что он ждал.

— Я готова, — сказала я. — Учите.

Краав кивнул. Один раз. Тяжело, как кивают кирпичом.

— Завтра — в шесть, — сказал он. — Покажу вам кое-что. Не на карте. Не в папках. В городе. То, что я ношу с собой пятнадцать лет и никому не показывал. Но вам покажу.

Он не объяснил. Я не спросила. Между нами начиналось что-то, чему я пока не знала названия, — но оно было. Как зверь внутри — тёплый, молчаливый, не злой. Но живой. Наверное так выглядит доверие.

Вечером я пришла домой. Мари сидела на кухне, а на столе стоял вишнёвый компот, настоявшийся, тёмно-рубиновый, с вишнями на дне.

— Ну? — спросила Мари. — Как город? Изменился?

— Город как город, мам, все такой же как я его помню, — сказала я. — Но детектив слышит, чувствует, у него прям волчье чутье.

Мари посмотрела на меня. Долго. Потом налила компот и пододвинула.

— Ты похожа на него, чем-то, — сказала она. — На Краава. Я его помню. Он приходил в школу — давно, когда ты ещё училась. Расследовал кражу в учительской. Денег не нашли, но он поговорил со мной, и я помню его глаза. Он смотрел так, как ты. Как будто видит то, чего нет.

— А что он увидел тогда? — спросила я.

— Не знаю, — сказала Мари. — Но после его ухода деньги вернулись. Кто-то положил их обратно в учительскую, ночью, в конверте. Без подписи. Краав не спрашивал. Просто закрыл дело.

Я пила компот, и Мари молчала, и я думала: вот. Вот он — Краав. Человек, который видит то, чего нет, и не может доказать. И я та, которая должна ему помочь. И город, который молчит, и свидетели, которые молчат, и бар, который платит, и женщина, которая упала с балкона, и соседи, которые слышали крик. И двадцать молодых магов, которые стоят на перекрёстках и мечтают о столице, и не видят того, что Краав видит каждый день.

Глава 2.

Год.

Ровно год. Триста шестьдесят пять дней с того утра, когда я стояла в кабинете номер тринадцать и говорила Крааву: «Я готова. Учите». Триста шестьдесят пять утр, когда я приходила раньше него. Триста шестьдесят пять вечеров, когда я возвращалась домой к Мари, и Мари спрашивала: «Ну?» — и я отвечала, и она слушала, и кивала, и не перебивала.

Многое изменилось за этот год. Много — нет. Краав по-прежнему держал в зубах трубку и входил без стука. Поль по-прежнему улыбался и наливал невкусный чай. Лин по-прежнему ругалась на сервер, но реже — потому что я нашла деньги на новые блоки питания. Не у государства — у комбината. Олдер по-прежнему молчал и писал пером. Двадцать магов-стражников по-прежнему патрулировали улицы и мечтали о столице.

Но кое-что — изменилось. Я — раскрыла дела.

Первое — медная проволока.

Четырнадцать краж за три года, все с одного комбината, все через восточный забор. Краав знал — кто. Я доказала — как.

Три недели. Три недели я ходила на комбинат — не как лейтенант, как студентка, которая пишет диплом. Краав устроил: формально — стажировка по технической безопасности, реально — я ползала по цехам, считала катушки, сверяла накладные с тем, что лежало на складе, и разговаривала. С охраной, с грузчиками, с мастерами, с теми, кто варил кашу в столовой. Разговаривала — не допрашивала. Сидела, пила чай, слушала. Краав учил: «Не давите. Сидите. Чай пейте. Люди говорят, когда молчат».

На семнадцатый день я нашла расхождение. Накладные на отгрузку медной проволоки — три партии в месяц, всегда один и тот же получатель: «Сильвертин-Трейд», фирма, зарегистрированная на улице Шахтёрской, дом восемнадцать, квартира четыре. Я проверила — квартира пустая. Бумаги — фикция. Проволока уходила через восточный забор, как и говорил Краав, но уходила не в никуда — в фуру, которая ждала за забором по средам, в три часа ночи, когда смена охраны менялась и между сменами было двадцать минут тишины.

Двадцать минут. Четырнадцать раз. Три года.

Я собрала данные — не столичные, не цифровые. Бумажные. Накладные, графики смен, журнал отгрузок, показания трёх свидетелей — двух грузчиков и одного охранника, которых я не давила, а поила чаем. Охранник — пожилой, с больным коленом, который не мог бегать и не мог уволиться, потому что пенсия через два года, — сказал: «Я видел фуру. Каждый раз. Но мне — не платят, чтобы я видел. Мне платят, чтобы я не видел». Я записала. Он подписал. Дрожащей рукой, но подписал.

Краав прочитал дело. Молча. Закрыв папку. Посмотрел на меня.

— Вы не давили, — сказал он.

— Нет.

— Вы сидели и пили чай.

— Три недели подряд. Мне до чая теперь тошно.

Краав хмыкнул. Это было ближе к смеху, чем я слышала от него за год.

— Охранник подписал добровольно. Как?

— Он устал бояться. Я ему ничего не обещала. Налила чай — он рассказал.

Краав кивнул. Тяжело, как всегда.

— Дело — в суд. Это не наша работа, ди Сольде. Наша — найти. Их — судить. Вы — нашли.

Медная проволока. Первое раскрытое дело за два года. Не грандиозное. Но — раскрытое.

Второе — бар «Рудник».

Семь пьяных драк, все по пятницам, все без последствий. Краав годами знал и не мог доказать. Я — доказала. Не сразу. За два месяца.

Лин помогла. Она подняла записи с камер — не с той, что над входом, ту стёрли, — а с камер на перекрёстке, в ста метрах от бара. Камеры на перекрёстке не нужны были никому. Довоенные, для контроля перекрёстка, и Лин держала их, потому что держала всё. Записи не стёрли, потому что никто не знал, что они есть.

На записях — фуры. Не те, что возили проволоку. Другие. Приезжали к бару по пятницам, в одиннадцать вечера, отъезжали в два. Из фур выгружали ящики. Заносили через чёрный ход. Бар был не бар — бар был склад. А драки были прикрытие. Шум, крики, стража, полиция — все смотрели на драку, никто не смотрел на чёрный ход.

Я показала записи Крааву. Он смотрел молча, трубка в зубах, дым вверх.

— Что в ящиках? — спросил он.

— Не знаю. Но знаю, где посмотреть.

Чёрный ход вёл в подвал. Краав достал ордер — первый за три года. Мы вошли вместе с двумя стражниками — магами огня, третий год службы.

— Почему вы? — спросил один из них. — Почему не Краав?

— Краав — в ордере. Я — в подвале. Вопросы?

Они переглянулись. Согласились. Не потому что верили в дело — потому что им было скучно, и потому что я не Краав. Краав они бы послушали молча. Мне — пошли.

В подвале — двадцать четыре ящика. Компоненты. Электронные, довоенные. Микросхемы, платы, модули — маркировка стёрта. Лин опознала: довоенная технология. Проект — неизвестный. Назначение — неизвестное. Но запрещённое.

Краав смотрел на ящики и молчал. Долго. Потом повернулся ко мне, и я увидела — не удивление. Что-то другое. Это был первый раз, когда Краав посмотрел на меня не как на помощника.

— Ди Сольде, — сказал он. — Вы знаете, что это?

— Довоенные компоненты. Запрещённые. Но я не знаю, откуда. И не знаю, зачем, похоже на контрабанду.

— Я знаю, откуда, — сказал Краав тихо. И не сказал больше ничего.

Я не спросила. Не тогда. Потом — потом.

Третье — женщина с балкона.

Пять месяцев назад. Несчастный случай. Дело закрыто. Краав не соглашался — и не закрывал. Папка лежала в ящике стола, он возвращался к ней раз в неделю. Я нашла папку на второй месяц, когда Краав заболел — впервые за пятнадцать лет, по словам Поля, — и остался дома на три дня.

Женщина. Сорок два года. Муж — водитель на комбинате, ночная смена. Двое детей. Балкон — четвёртый этаж. Упала в два часа ночи. Муж на работе — трое коллег подтвердили. Чистое.

Нечистое.

Женщина с двумя детьми не прыгает с четвёртого этажа. Значит — толкают. Муж. Но муж на работе. Алиби — трое коллег.

Я поехала на комбинат. Поговорила с механиком — не о муже, о графике. Смена с двадцати до шести. Перерыв — с часа до двух. В перерыв водители спят в комнате отдыха. От гаража до дома — двадцать минут пешком. Двадцать туда, двадцать обратно, десять — на всё. В перерыв.

Трое коллег подтвердили, что муж был в комнате отдыха. Но они засыпали в час. Не подтверждали, что он был — когда спали.

Я поговорила с каждым. Отдельно. Первый: «Заснули в час, проснулись в два. Он рядом. Не просыпался». Второй — то же. Третий помолчал. Долго.

— Я просыпался, — сказал он. — В полвторого. Его не было. Подумал, в туалет ушел, ну я и заснул. Проснулся утром, он тут был. Я не говорил Крааву. Краав не спрашивал. Думал — не важно.

— Важно, — сказала я.

— Да? — Он посмотрел на меня. — Ну... тогда важно.

Я принесла показания Крааву, когда он вернулся. Он читал. Молча. Трубка в зубах.

— Третий просыпался. Видел, что было пусто, — сказал он.

— Да. И молчал.

— Вы не давили?

— Пила чай.

— Опять чай.

— Работает же.

Краав закрыл папку. Посмотрел на меня — тем новым взглядом, который появился за последний месяц. Не сквозь. Прямо.

— Допросите мужа. Формально. По протоколу. Не чай — протокол.

Муж — крупный, краснолицый, с руками, которые не находили места. Молчал час. Я молчала тоже. Тяжёлый взгляд, серые глаза, тишина, которая давит сильнее вопросов. Потом он сказал: «Она надоела. Крик, дети, быт. Пришёл, она кричала, я толкнул. Не хотел — так. Просто — толкнул».

Дело — передано в суд.

К концу года — одиннадцать раскрытых дел. Не все громкие. Но — раскрытых. В столице — заметили.

Аттестация пришла в конце одиннадцатого месяца. Письмо на официальной бумаге, с печатью. «Комиссия центрального управления технополиции Сивелирии... плановая проверка отделения города Сильвертин... срок — две недели... состав — три человека».

Краав прочитал. Положил на стол.

— Аттестация, — сказал он. — Раз в три года. Последняя — два года назад. Приехали, написали «удовлетворительно» и уехали.

— А теперь?

— А теперь — раньше. И не «удовлетворительно» они приехали писать. Столица видит отчёты. Мои — «приостановлено». Ваши — «передано в суд». Столица видит разницу.

— Вы думаете, из-за моих дел?

— Я думаю — из-за всех. Провода, бар, балкон. И довоенные компоненты — особенно. Столица не любит, когда в провинции находят то, чего быть не должно. Это значит, кто-то не досмотрел. Или кто-то — наоборот, досмотрел и молчал.

— Вы молчали?

— Я — смотрел. Вы — увидели. Разница — как между смотреть и видеть.

Комиссия приехала через неделю. Трое. Старший — полковник Драйт, из центрального управления, невысокий, жилистый, с лицом, на котором ничего не отражалось. Вторая — аналитик, женщина лет тридцати пяти, с планшетом. Третий — технический инспектор, молодой, тихий, который два дня провёл в подвале с Лин и вышел с выражением лица человека, попавшего под дождь без зонта.

Драйт не улыбался. Сел в кресло Краава — в его кресло — и сказал:

— Ваше отделение — единственное в северной провинции, которое за год увеличило процент раскрытых дел на сорок процентов. Объясните.

Краав кивнул на меня.

— Объяснит лейтенант.

Я объяснила. Пятнадцать минут — без бумаг, по памяти. Каждое дело — кратко, с датами и результатами. Драйг слушал. Не перебивал. Аналитик записывала.

— Хорошо, — сказал Драйг. — А теперь — покажите.

Две недели. Драйг ходил по отделению, читал дела, проверял протоколы, опрашивал Поля, Олдера, Лин, стражников. Ездил на комбинат, в бар, к дому женщины.

На десятый день Драйг вызвал меня. Без Краава.

— Лейтенант ди Сольде. Год назад вас прислали как командира отряда. Отряда нет. Вы — помощник детектива. За год — одиннадцать дел, три — довоенной категории. Вы — единственный лейтенант в северной провинции с таким результатом. Почему вы здесь, а не в столице?

— Меня сюда прислали. Я приехала. Я работаю.

— Это не ответ.

— Это единственный. Я не просила перевода. Не просила повышения. Делала то, что Краав говорил. Потом — то, что видела сама.

Драйг смотрел. Считал.

— Повышаем ваше отделение до второго класса. Финансирование — утроенное. Новое оборудование — по списку. Дополнительный персонал — пять единиц, включая двух выпускников академии. Аттестация Краава — на инспектора первого класса. Заместитель — лейтенант ди Сольде. Официально, с этого дня.

Я молчала. Слово «заместитель» — звучало тяжелее, чем я ожидала.

— Вопросы? — спросил Драйг.

— Новые выпускники. Какие?

— Криминальный анализ, как у вас. Столичная академия. Оба — добровольно. В Сильвертин добровольно не едут, но после ваших отчётов — два человека попросили. Я не спрашивал почему.

Драйг встал. Протянул руку. Сухо, коротко.

— Не разочаруйте. Столица вкладывается в вас. Не в Краава — в вас. Краав — пятнадцать лет «удовлетворительно». Вы — год «отлично». Не подведите.

«Не подведите». Второй раз за год — от двух разных людей.

Комиссия уехала. Через три дня — грузовик с оборудованием. Сервер — новый, столичный, в заводской упаковке. Мониторы — четыре, плоских. Оборудование для допросной — цифровое. Анализаторы — портативные. И камера — одна, но цифровая, с ночным режимом.

Лин увидела сервер — и заплакала. Тихо, без звука, слёзы побежали по щекам. Вытерла рукавом.

— За два года — первый раз новое, — сказала она. — Я привыкла чинить. Я не привыкла — получать.

— Привыкай, — сказала я. — Теперь будет.

— Ты серьезно?

— Более чем, Лин.

Поль перенёс мониторы, подключил — аккуратно, как обращаются с вещами, которые жалко уронить. Олдер записал всё в книгу — пером, чернилами, с нажимом.

Через месяц приехали выпускники. Рейн Кальвер — двадцать четыре, тощий, с лицом, которое ещё не знало, что такое провинция. Корн Велт — коренастый, рыжий, с веснушками и смехом, который напоминал мне Морта.

— Почему Сильвертин? — спросила я у Рейна.

— Вы — единственная, кто работает. В столицу — не попасть. Здесь — хотя бы какие-то дела.

— Здесь не дела. Здесь — люди. Тяжёлые, молчащие, врущие. Редкие — честные. Приехали за делами — разочаруетесь. За работой — оставайтесь.

Он остался. Корн — тоже. Краав посмотрел на них — сквозь — и сказал: «Завтра в шесть. Обход.» И они пошли.

Год. Ровно год.

Я сидела в кабинете номер тринадцать — за своим столом, напротив Краав. Два стола в одном кабинете. Его — завален папками, трубкой, картой. Мой — чистый, с монитором, с папками по номерам.

— Ди Сольде, — сказал Краав.

— Да.

— Год.

— Год.

— Вы — заместитель. Бумаги пришли утром.

— Знаю. Поль сказал. Он — первый, кто узнаёт всё.

— Поль — первый, кто знает всё.

Краав хмыкнул.

— Я хотел сказать при всех. Поль опередил. Поль — всегда опережает.

Он помолчал. Зажал трубку в зубах, немного улыбнувшись уголком рта.

— Пятнадцать лет — один. С сержантом, который ест на дежурстве. С техником, которая плачет над сервером. С бухгалтером, который молчит. С двадцатью магами, которые уходят. Год назад пришла лейтенант, которая смотрит тяжело и не улыбается. Я думал — ещё одна. Приедет, посмотрит, испугается, уедет.

— Не уехала.

— Не уехала. И раскрыла одиннадцать дел. И нашла довоенные компоненты. И заставила стражу работать. И выбила финансирование. И привезла выпускников. И стала заместителем. За год.

— Вы — всё сделали. Я — только увидела.

— Вы — увидели. А я — смотрел. Пятнадцать лет. Разница — как между смотреть и видеть.

Он затаился. Выдохнул. Дым — вверх.

— Спасибо, — сказал он. Тихо. Не как Краав — как человек. — Не за дела. За то, что остались.

Я кивнула. Строго по-военному.

Вечер.

Тот вечер.

Я не знала, что он изменит всё. Не знала, что через час — через один час — перестанет существовать та Видена, которая была заместителем, которая раскрыла одиннадцать дел, которая пила чай с охранниками и не молчала на допросах. Что начнётся другая. Тёмная. Молчаливая. Носительница кольца. Охотница.

Я не знала. Но я чувствовала.

Неясная тревога, сосала под ложечкой. Не голод, не усталость. Что-то другое, чему я не знала названия. Как будто зверь внутри — тот, тёплый, молчаливый, который спал все двадцать лет, в академии и год в Сильвертине — вдруг повернулся. Не проснулся. Повернулся, как ворочаются во сне, и от этого движения внутри стало тесно и не по себе.

Хотелось — к Мари. Не домой — к маме. Прямо сейчас, бросить всё, ехать, зайти, сесть на кухне, слушать, как она возится у плиты, и говорить о пустяках, о работе, о Поле, который опять опередил, о Лин, которая плакала над сервером. Но Мари была дома, и я была на службе, и нужно было донести бумаги в архив. Обычные бумаги. Подшитые дела, готовые к сдаче. Рутин.

Теперь ещё один сотрудник в нашей технополиции, столичный архивариус. Прислали вместе с комиссией, задержался — разбирал наши архивы. Многие дела — старые, закрытые, «приостановленные» — пересматривались. Архивариус — тихий, дотошный, с руками, которые пахли пылью и клеем, как у Олдера, — работал по вечерам, когда отделение пустело, и требовал, чтобы все подшитые дела приносили ему лично, в архив, с описью, с печатью. Я не любила его. Не за то, что дотошный — за то, что от его присутствия в подвале, рядом с Лин и сервером, мне было не по себе. Как будто он смотрел не на дела — на что-то другое. На что-то, что лежало между строк и только в отчетах.

Но — бумаги есть бумаги. Архив — архив. Я собрала дела, подшила, сложила в стопку. Взяла.

Прошла по коридору. Дверь кабинета номер десять — моего кабинета, который мне выделили после повышения, но в который я почти не заходила, потому что работала в тринадцатом, рядом с Краавом. Десятый — формальность. Стол, стул, окно во двор, к берёзе. Я зашла — поставить телефон на зарядку. Зарядка — на столе, рядом с лампой.

На столе лежала папка.

Я не приносила папку. В кабинете, куда я почти не захожу, на столе, который я почти не трогаю, — лежала папка. Тонкая, серая, без этикетки. Как те, что Краав складывал в ящик. Но эта не из его ящика. Эта — другая. Я не знала, откуда она. Не знала, кто положил. Архивариус? Кто-то из стражи? Кто-то, кто вошёл в отделение, поднялся на второй этаж, прошёл по коридору, открыл дверь незапертого кабинета и положил папку на стол — и ушёл?

Я не открыла. Не тогда. Потом, все потом. Я поставила телефон на зарядку, посмотрела на папку, почувствовала, как сосало под ложечкой сильнее, и вышла.

Спустилась в архив. Подвал. Лин уже ушла — поздно, десять вечера. Архивариус сидел. Тихий, в углу, с лампой и лупой. Взял дела. Проверил опись. Поставил печать. Молча. Я тоже промолчала. Мы не разговаривали. Я ушла.

Поднялась. По лестнице — чугунные перила, тусклый свет, камера в углу, мигающая красным. Второй этаж. Коридор. Кабинет десять. Дверь приоткрыта — я оставила приоткрытой? Не помнила.

Зашла. Телефон на зарядке — экран загорелся: пропущенный. Один. Номер — больничный. Сильвертинская городская больница.

Я стояла и смотрела на экран. Смотрела — три секунды. Телефон зазвонил. Опять. Тот же номер.

Я взяла трубку.

— Лейтенант ди Сольде? — голос. Женский, усталый, без интонации. Голос, который произносит слова, которые произносил сто раз и привык.

— Да.

— Это дежурная врач городской больницы. Персона... — пауза. Шелест бумаги. — Ди Сольде, Мари. Пятьдесят семь лет. Скоропостижно скончалась. Чуть больше трёх часов назад.

Я стояла. Телефон — в руке. Рука — не дрожала. Голос у меня не дрожал. Меня учили не дрожать.

— Причина? — спросила я. Голос — мой. Ровный. Тяжёлый.

— Предварительно — сердечная недостаточность. Окончательно — после вскрытия.

— Вскрытие?

— Стандартная процедура при скоропостижной смерти. Через час тело доставят в морг.
Вы — ближайшая родственница?
— Да, — сказала я. — Я — ближайшая.
Я положила трубку. Встала. Телефон — на зарядке. Папка — на столе. Не тронутая.
Через час тело доставят в морг.
Через час.
Этот вечер изменил всё.

Глава 3

Я открываю папку и у меня дрожат руки. Тело мамы доставлено в морг.
Читаю досье и волосы встают дыбом.

Мари ди Сольде. Пятьдесят семь лет. Учитель начальных классов в Сильвертине — Серебряном городе, столице северной провинции. Урожденная Бреквуст. Фамилия досталась ей от мужа, с которым она прожила недолгие десять лет и которого схоронила в тридцать с небольшим. Чужая, не местная фамилия, которая в силвертинском загсе заставила клерка поднять брови, но Мари ди Сольде носила её ровно, спокойно, без вызова. Всю жизнь она держалась подальше от сестёр и братьев — не из ссоры, из характера. Виделись раз в год, на праздники, по инерции. Больше замуж не выходила. Четырёхкомнатная квартира на втором этаже панельной пятиэтажки — для одной женщины это было слишком много места, и Мари это знала. Ещё одну квартиру ту, что осталась от мужа, поменьше, на соседней улице она сдала семье, молодой паре с ребёнком. Детей нет. Есть приемная дочь.

Бог не дал ей своих детей. Поэтому она и работала в школе — чтобы чужие дети называли её по имени, тянули руки на уроках, дарили мятые открытки к весеннему празднику. Дети её любили. Она умела быть тёплой без сюсюканья и строгой без жестокости. Сильвертин - город маленький, жизнь размеренная, и лишь раз в какое-то время наезжали «родственники» что бы проверить, жива ли она. Может, из долга. Может, из страха, что она кому-то что-то отписала. Я не берусь судить. Я перелистнула дело, смахивая слёзы.

Родом из Фромвиля. Города Острых зубов. Родственники Брат Костан Бреквуст, Сестра-Камалия Бреквуст-Торн. Сын Камалии - Андрес Торн, единственный сын Камалии, наследник ныне покойного герцога Артиса Торна.

Я вспомнила когда приезжала на каникулы, и племянник приехал впервые.

Андрес. Сын её старшей сестры, которого я видела до того, только на редких, общих фотографиях, которые родственники пересылали друг другу в праздники, чинно с поздравлениями, пожеланием крепкого здоровья.

Молодой, тридцати с небольшим, Высокий, широкоплечий мужчина, с черными волосами, и пронзительным серым взглядом. Мари сразу забеспокоилась — родственники избегали ее и редко приезжали, в тот поздний вечер я закрылась в комнате и сидела тихо, а мама, покормила гостя, постелила ему в одной из свободных комнат, устроила ему выводочку за какие-то дела. Тогда они разговаривали практически всю ночь. Мужчина находился у неё недолго, но перед отъездом сел на кухне, просил поговорить. Тогда он ушел, а позже прислал сообщение что вернется позже, и он обязательно обо всем расскажет. Я спросила, что случилось? Она отшучивалась. Он уехал, мама проводила его на перрон. Мария ему звонила, места себе не находила, Андрес перестал выходить на связь — не отвечал на звонки, на сообщения. Мари переживала, но молчала, как умела. Как ни странно, тогда мы не столкнулись, не увиделись. Утром я вышла на кухню, а мужчины и след простыл.

Не то что бы я пряталась, да и мама не скрывала обо мне. Так вышел случай.

Я — приёмная дочь, о которой не знали много лет. Мама взяла меня тихо, без официальных формальностей, без огласки. Ни один из родственников Мари ди Сольде даже не подозревал, что в её жизни есть ещё кто-то. Я жила в соседней комнате — из четырёх одна была моя, сколько себя помню, ходила в местный сад, потом в школу, росла как обычный ребенок,

а потом уехала — поступила в академию технополиции в столице, отучилась, получила лейтенантские нашивки, диплом. За время учебы я возвращалась только на лето. Когда вернулась в последний раз, я начала вспоминать этот год. Маме не здоровилось. Она часто кашляла, останавливалась на более долгое время когда уставала. Я отвезла ее в больницу, и вроде бы все хорошо, мама пошла на поправку. Ее выписали.

Я как раз хотела уходить домой с дежурства, хотела набрать маме, спросить что купить.

Мамы не стало. Увезли в больницу, и через пару часов все.

Вынырнув из воспоминаний, я закрыла личное дело.

Я не стала сообщать родственникам. Я решила, что сначала должна узнать, кто её убил.

До морга я добралась быстро. Местный санитар кивнул мне, и пошёл вглубь коридора. Мы знакомы. Ни раз и не два я была тут. Город у нас хоть и тихий, но смерти и убийства происходят, провинция, как ни крути.

Мужчина открыл морозильник, откатил тело, снял простыню.

И вот ее тело лежит передо мной.

Волосы утратили блеск. Некогда пшеничная шевелюра, посерела. Лицо осунулось. Впало. Я Кивнула головой, гор в горле стоял невозможный. На руках и ногах-черные вены поднимающиеся от запястий к плечам, от лодыжек к бедру.

—Соболезную, —сказал мужчина.

—Спасибо, магический анализ крови готов? Гистология органов?

—Да, сейчас вам отдам, лейтенант ди Сольде.

На негнущихся ногах, я добрела до дома.

А результаты анализов повергли в шок. Яд аурекуса. Маленькой ящерицы из Фромвиля с диких болот. Редкий и запрещенный яд в Сильвертине.

Я набрала детективу. Ясно что Мари ди Сольде не умерла от болезни. Она умерла от едкого яда. Тот, кто это сделал, знал, что делает. Едкие яды убивают не тихо — они выжигают изнутри, и человек уходит в сознании, и последние часы — это боль, которую не заглушить. Мари молчала о том, что с ней происходит. Может, не понимала. Может, понимала и не хотела, чтобы я видела. *Я не видела!*

Я схватилась руками за голову и заревела на взрыд. Первый раз я дала выход эмоциям. Магия заструилась по воздуху.

Я лейтенант технополиции — меня учили находить следы, которые преступник оставляет не на полу, а в данных, в поведении, в мелочах, которые обычный человек не заметит. Я знаю признаки отравления едким ядом, знаю, как выглядит смерть от химического ожога изнутри, когда ткани разрушаются слой за слоем и организм отключается, не справляясь. Я знаю, как это выглядит.

Я не заметила этого всего! А самое главное я не знаю — кто и зачем это сделал. Во всем виновата только — я. Груз вины давил на плечи, тяжесть могильной плиты моей матери придавила все живое что было во мне. ЭТО.Я.ВО.ВСЕМ.ВИНОВАТА.

И поэтому я стала ею.

Глава 4.

Видена — исчезла. Мари ди Сольде — продолжала выходить на работу, пить утренний кофе, поливать герань на подоконнике, здороваться с соседями на лестничной клетке. Я носила её одежду, её манеру говорить, её привычку чуть щуриться, когда она чему-то не верила. Мне двадцать восемь, но издалека — женщина с седой прядью в убранных волосах, в тёмном пальто, с той же походкой, что и раньше, не вызывает вопросов. Косметика, грим, изменение голоса. Обратное кольцо — серебряное, с тусклым камнем, — я носила не снимая. Детектив дал мне его, когда разрабатывали операцию. Я снимала только на ночь. Кольцо не магия, не в прежнем смысле слова, — скорее технология, старая, довоенная, из тех, что в Сивелирии запрещены, но не уничтожены. Оно меняет контур лица, тембр голоса, осанку. Не до неузнаваемости — ровно настолько, чтобы обмануть глаз, который не всматривается. А здесь не всматриваются.

Маму кремировали и похоронили тихо. Только я, детектив Краав, и семья, что проживала в квартире, которую мама сдавала.

Три месяца я держалась. Работа-дом. Сложнее всего было с детьми. Я их любила, но разница между мной и Мари была ощутимая.

Семья Талинн — та самая молодая пара с ребёнком, которая снимала у Мари вторую квартиру — знала мой секрет. Ниналь и Артемий, и их дочь Ксена, пяти лет. Нина догадалась сама, недели через две: зашла к Мари — то есть ко мне — за долгом по аренде, а я ещё не успела надеть кольцо. Она замерла в дверях, посмотрела долго, потом сказала: «Вы не Мари». Я ответила прямо. С того дня они стали мне практически семьёй. Артемий ходил за продуктами, Ниналь помогала с деталями — какие лекарства Мари принимала, как здоровалась на лестнице, кому и что говорила. Ксена просто звала меня «тётя Ма» — так, как не могла говорить букву «р» и имя «Мари» — мне каждый раз становилось одновременно тепло и больно. Они приходили почти каждый день — то по делу, то просто так, для поддержки, что бы я не оставалась одна.

Четырёхкомнатная квартира, в которой я жила одна, стала бы слишком тихой без них, и я была им за это благодарна. Тишина убивала во мне все живое, возвращая древний инстинкт.

Утром на мамин телефон пришло смс. Племянник попросил остаться на пару дней по работе.

Второй раз. И в этот раз — не на пару дней.

Он поселился в одной из комнат — той, что раньше была гостевой. Мари — то есть я — не смогла отказать: племянник, родная кровь, как не пустить. Он стал ходить по квартире, открывать шкафы, задавать вопросы о её-моем здоровье все ли в порядке, составила ли я завещание, о том, не нужно ли ей «помочь с делами». Он был тактичен и внимателен — в меру, без перебора. Я смотрела на него и не понимала: он пришёл проверить, жива ли она — или пришёл закончить то, что не закончилось в прошлый раз? Подозрения все росли.

Змея обвивала горло, но я не могла выдать свое секрет, ведь он-предполагаемый убийца.

И хуже того — он вызывал во мне те чувства, которых не должно быть у близких родственников.

Но я не родственник. Никогда им не была. Видена — это не ди Сольде. Обратное кольцо на пальце, грим на лице, чужое имя на дверном почтовом ящике — ничто из этого не делает меня его тётей. И то, что поднималось в груди, когда он улыбался, — не имело отношения к кровосмешению. Но имело другое чувство, от которого мне было стыдно и горячо одновременно.

Прошло ещё три месяца. Я продолжаю носить кольцо, продолжаю быть Мари ди Сольде — для школы, для соседей, для родственников, которые звонят раз в два месяца, чтобы проверить, жива ли «она». Для Андреса.

Таллин знают. Ксена рисует мне каракули-открытки. Ниналь иногда молча обнимает. Артемий то починит кран который давно тек, то заменит замок в двери на мою комнату, и делает это просто так, ибо я не решаюсь что-то починить, потому что не знаю, как Мари относилась к работе по дому и посторонней помощи. Сколько ее помню, она всегда делала сама.

Я так же жду. Потому что убийца обязательно вернётся — проверить, не осталось ли следов. Или потому, что Андрес ещё не сказал того, что хотел сказать на свой первый приезд. Так и не поднял ту тему, но ничего, я умею ждать. Этот пазл не давал мне покоя, ибо все точки сводились к этому племяннику.

Глава 5

Я привела себя в порядок, надела кольцо и вновь увидела в зеркале такое знакомое и родное лицо. Сейчас всем нужна тётка — точнее, её квартира, доставшаяся ей от мужа. Родственников рядом нет. Может это брат или сестра заслали отравителя? Наследство у мамы не плохое, можно даже сказать—богатое. А кто посмел отравить маму? Наша технополиция не нашла следов. Но яд был в еде — в торте, который оставил чей-то внезапный гость.

У мамы не было магии, а у меня есть. Мы не похожи ни характером, ни внешне. Разве что обе блондинки. Мама была невысокой, худой, с короткими светло-пшеничными волосами закрученными в тугий пучок на затылке. Небольшие овальные очки, она носила постоянно. И, как оказалось, Мари очень скрытной. Про родственников рассказывала мало, да и они почти не приезжали. Не считая племянника.

Но когда Андрес свалился мне на голову и принялся портить всю операцию своими распросами, пришлось притворяться и перед ним. Он приехал как племянник — навестить любимую тётушку. Не знал, что тётушки нет пол года. Что перед ним приёмная дочь, которая носит её лицо, её кольцо и её имя.

В ходе расследования я часто ловила себя на мысли, что он мне симпатичен. Даже более чем. Кажется, я влюбилась в предполагаемого убийцу. Всегда вежлив, обходителен. Красивый тембр голоса, который я слушала часами, по большей части он рассказывал о своей матери, ведь они с Мари были в детстве очень дружны. Я делала вид что мне интересно и важно, хотя так и было, и в моменты когда могла спалиться, ссылалась на поздний час или головную боль.

Мужчина заезжал по работе, и я заботилась о нём, как могла. Точнее, пыталась быть заботливой тетушкой. Доверие росло, и кажется, что этому человеку можно доверять. Мое чутье никогда не подводило, но практика и осторожность тормозили как никогда. Главный подозреваемый невиновен?

Поздний ужин на кухне, я поела, и принялась мыть посуду. За окном — темнота, свет луны, дождь по стеклу барабанит так, что слышно эхо в квартире. Около часа назад Ксена уснула у меня на коленях — пришла с Нинель после ужина и не захотела уходить, и Нинель унесла её домой, квартира опустела, остался только Андрес, который сидел напротив в кресле, читал книгу и молчал.

Я устала. Не от работы — от всего. От кольца, которое давило на палец, от лица, которое не было моим, от голоса с хрипотцой, который я натягивала каждое утро, как перчатки. От того, что я — не я. Уже пол года — не я. И в этот вечер, на кухне, под дождь, под тёплый свет лампы, — я забылась. На секунду. На одну секунду перестала быть лейтенантом, перестала быть охотницей, перестала быть Мари, я стала — просто уставшей женщиной за столом.

— Я устала, — сказала я. Просто — сказала. Без объяснений, без контекста, без причины. Мари бы так не сказала — Мари никогда не жаловалась. Но я — не Мари. И в этот вечер я забыла, что я Мари.

Андрес посмотрел на меня. Серые, стальные глаза, жёсткое выражение, которое не менялось. Но — что-то дрогнуло. Не на лице — внутри. Он встал, обошёл стол и сел рядом. Близко. Положил руку на плечо — тяжёлую, тёплую, уверенную. Руку племянника, который сочувствует тёте.

— Тетушка Мари, — сказал он. Тихо. Просто. — Отдохните. Вы столько возитесь — с домом, со мной, с квартирой. Вам нужно отдохнуть.

Он обнял меня. Как обнимают тётю по-родственному, бережно, без подтекста. Широкие руки, тёплая грудь, запах дождя и табака. Обнял — и я почувствовала тепло. Настоящее, живое, чужое и — единственное. Три месяца я не чувствовала чужого тепла. Еще три месяца — только кольцо, только грим, только Нинель, которая обнимала молча и быстро. Только детектив Краав, который поддерживал строго, как умел. А тут — тепло, которое держало, которое не отпускало, которое было — для меня. Не для Мари. Для меня. Он не знал, что для меня. Он думал — для тёти. Но тело не знает имён. Тело знает только тепло.

И я — забылась.

Не думала. Не решала. Не выбирала. Просто — подняла лицо, и его губы были близко, потому что он обнимал и его лицо было у моего лица, и я — поцеловала. Коротко. Лёгко. Губами, которые не были моими, но тепло — было моё. Одну секунду. Может — две. Достаточно.

Он замер.

Тело его окаменело — руки, которые обнимали, застыли, не отпуская и не прижимая. Он не ответил. Не отстранился — не успел. Просто — замер, как замирают, когда реальность ломается и не сходится с тем, что было секунду назад.

Я отстранилась первая. Отпрянула. Резко, слишком резко для Мари — Мари не отрывалась резко, Мари двигалась плавно. Но я уже не думала о Мари. Я думала о его лице. О том, что на нём — не жёсткость, не сталь, не привычное выражение. На нём — шок. Чистый, голый, неприкрытый шок. Глаза — широко раскрыты, рот — приоткрыт, и он не дышал. Не дышал.

— Мари? — сказал он. Голос — пустой. Как у человека, который ищет слово и не находит.

Я молчала. Кольцо — на пальце, лицо — чужое, сердце — моё, и оно билось, как зверь внутри бился вместе с ним, и я не знала, что сказать, потому что сказать — нечего. Я — его тётя. Я — его тётя, которая только что поцеловала племянника. В губы. На кухне. Под дождь.

Андрес встал. Медленно, как встают, когда земля уходит из-под ног. Стул скрипнул. Он стоял надо мной — высокий, чёрные волосы, мужественные черты, и лицо, на котором — ничего. Пусто. Как будто вынули. Он смотрел на меня — и не видел. Не тётю. Не женщину. Не — кого-то. Просто — смотрел, и в стальных глазах был один вопрос, который он не задал, и хорошо, что не задал, потому что я не знала ответа.

Он повернулся. Молча. Прошёл к двери — чёткими, ровными шагами, которые были ровными от усилия, а не от спокойствия. Куртка — на вешалке у входа. Обувь — у порога. Дверь — открылась и закрылась. Тихо. Без хлопка. Тихо.

Его комната — справа, через коридор. Нет. Он вышел. Из дома. В дождь. В темноту. Не взял куртку.

Я сидела на кухне. Одна. Дождь по стеклу. Фонарь. Темнота. Кольцо на пальце — тёплое, живое, тяжёлое. Вкус — чужой, мимолётный, от которого горели губы, которые не были моими и моими в тоже время.

Я поцеловала племянника. Мужчину, который считает меня своей тётей. Мужчину, который, может быть, убил мою мать. Мужчину, который обнял меня — с сочувствием, по-родственному, — а я сделала так, как не отвечают родственницы.

И он — сбежал. Не от меня — от того, что произошло. От того, что не должно было произойти. От того, что ломало его картину мира, в которой тётя — тётя, а не — это.

Он вернулся через два часа. Мокрый. Молчаливый. Прошёл мимо кухни, не заглянув. Дверь комнаты — закрылась. Тихо.

Утром он спустился. Как всегда. Сел за стол. Я поставила перед ним чай. Он взял чашку. Посмотрел на меня — и я увидела: всё. Он помнил. Каждую секунду. Но — не поднимал. Ни взглядом, ни словом, ни жестом. Он сидел и пил чай, и я сидела и пила чай, и между нами —

на столе, в воздухе, в тишине — висело то, что произошло, и мы оба делали вид, что ничего не было.

И больше — не поднимали.

Ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю.

Но я видела. По тому, как он избегал смотреть мне в глаза дольше двух секунд. По тому, как он перестал обнимать меня при встрече — раньше обнимал, коротко, по-родственному, теперь — кивал. По тому, как он садился за стол — напротив, не рядом. Больше никогда — рядом.

И по тому, как он замолкал, когда я говорила «я устала». Больше я не говорила. Больше — не могла. Потому что эти два слова — «я устала» — были причиной, и он это знал, и я это знала, и молчание между нами — стало другим. Не тяжёлым — болезненным. Не враждебным — раненым.

Я поцеловала его, потому что забылась. Он сбежал, потому что не забыл. И мы оба — молчали, потому что сказать — нечего. Потому что я — его тётя. И я — не его тётя. И он — не знает. И я — не скажу. И между нами — кольцо, ложь, расследование, и поцелуй, которого не было.

Который был.

И мы делали вид, что его не было.

Пару дней напряженной тишины, Андрес написал короткое сообщение, что возвращается в Фромвиль, сказал, что нам надо поговорить, и снова исчез.

Объявился через месяц — попросил пожить в квартире. Легенда трещала по швам. И если бы он захотел, уже давно бы всё понял. Но он видел перед собой тётушку Мари — и всякие странности списывал на возраст, горе, усталость. Я пользовалась этим. И ненавидела себя за это.

А потом он решил познакомить меня со своей невестой.

Девушка приехала вечерним поездом. Мы встречали её на перроне. Я стояла в чёрном мамином платье в цветочек и смотрела, как Андрес целует другую. Хотелось разреваться. Но я улыбалась и смахивала слёзы — показывала, как счастлива за молодых.

Холли была мне незнакома. Не хамила, держалась вежливо. Старалась мне понравиться. Я не лезла в их отношения, они не мешали мне. Но что-то в ней было не так. С первых минут.

Красивая, молодая девушка, с женственными чертами лица, тонкий нос, мягкие губы. Красивая фигура. Невысокого роста, с темно-рыжими волосами, подстриженными по самую шею раскосыми золотистыми глазами.

Каждый раз, когда Андрес и Холли были рядом, я замечала невербальные знаки. То она отстранялась от него, когда надо было приблизиться. То уводила голову в сторону, когда он её целовал. То вдруг замолкала посреди разговора и смотрела на меня — быстро, изучающе, — будто проверяла, не слушаю ли. Я видела, что они, что-то скрывают. Влюбленные так себя не ведут. Они не были парой. Или были?

Допрос свидетелей ничего не дал, кроме одного.

У мамы была подруга, с которой они ужинали в тот вечер. Подруга клялась на магии, что купила торт в магазине и не желала Марии смерти. В здании технополиции я проторчала час. Детектив попросил носить личину ещё какое-то время: появилась зацепка. Мама переводила кому-то деньги в заграничный банк, причём большие суммы. Откуда у обычного учителя такие деньги? Тем более в нашем захолустье?

Папка с досье на маму принес маг. Молодому парню передали в отделении администрации, и вертели положить лично мне на стол. Он не запомнил ни лица ни внешности. Судя по всему, был использован медальон для отвода глаз.

Я решила провести обыск по квартире, пока Холли и Андрес ушли по своим делам. Долгий взгляд Андреса был устремлен мне в спину. Да, я не горжусь этим, но хотелось бы знать точно, что они скрывают, и что в их вещах. Не то чтобы надеялась найти что-то конкретное — просто Холли не давала мне покоя. Слишком уж она была правильная, слишком гладкая. Ни одного лишнего слова, ни одного лишнего жеста. Я никогда не доверяла людям, которые не ошибаются.

Перерыла шкафы, ящики, заглянула под матрас и за батарею. Перебрала какую-то коробку, лежавшую в чемодане, с документами — ничего нового. Бумаги обычные, накладные, расходные чеки и платежи. Тогда взялась за чемодан Холли. Надела перчатки из баллистического шелка, которые не оставляют следов. Аккуратно, открыла, чемодан не заперт. Внутри — одежда, косметичка, потрёпанный блокнот. Я пролистала его: расписание поездов, список покупок, кулинарные рецепты. На последней странице — адрес, написанный от руки. Без имени, без пояснений. Просто адрес. Я сфотографировала и убрала блокнот обратно.

Под косметичкой нашла телефон. Не тот, которым она пользуется — другой. Маленький, дешёвый, с кнопками. Выключенный. Я не рискнула включать, только запомнила модель. В отделении для документов — билеты. Туда и обратно. Она приезжала раньше. За три месяца до того, как Андрес привёз её знакомиться. Зачем?

Андрес часто маме писал. Они общались, как близкие родственники, и отношения у них были очень тёплыми. Для него тетушка была практически лучшим другом. В маминной комнате я нашла письма, ничего не понимала, но прочитала все, племянник и правда очень любил тетушку и дорожил ей. Я читала письма с комом в горле, и большим стыдом, что никому не сказала о смерти мамы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.